странные эти слова грядушка амбар вехотка
выткались паутиной ласточкиным крылом
сколько прошло но так же памятливо и строго
время и пыль вжались в следы голубых слёз
за спину руки ходишь комнату расширяя
шёпотом и шагами комкаешь тишину
если и было счастье в этой стране великой
то это было счастье снега любви и слов
пахнет палёной водкой на глубине стакана
на глубине и в горе вечнозелёных глаз
значит так надо надо бледные и немые
абрисы человечков кружатся на столе
тают и умирают
тают и умирают
тушью весенней грязью веточкой каблучком
только слова садятся
на освещённом крае
только слова садятся
только слова молчат
смотрят и не моргают
смотрят и не моргают
будто цветок последний в детской моей руке

Ночь тонка, холодна, одинока
и т. д. и т. п.
Хочешь в рифму писать—
только гладишь слова против шерсти.
Не идёшь по земле,
не стоишь на земле,
но даёшь имена
птицам, травам и каждой второй сигарете.
Не-стрекозы, не-сад,
не-дыхание рук по листве,
не-любовь, не-ресницы,
но страх потерять.
И боишься.
Это ангел летит,
золотой и печальный,
и молчанье несёт,
как фонарик в уставшей руке.

первый лист как прищур старика
первой песней
на тяжёлом на талом
весны повороте
о вечерний скворец языка
о вечерний скворец окуджавы
и песня его о пехоте
он поёт о печали
он синий
прозрачный почти
отливает бледнея
отлетает гитарной струной
и качается в сонной горсти
и качается в сонной горсти
над моей одинокой страной
распадается свет и тепло
на промокшие перья
сигареты цветы и слова
только верный скворец окуджавы
только музыка речи права

сада шага
дыхание листьев храня
жест прощальный пусть теплится в кроне
жук жука не хоронит
жук живёт одиночней чем я
он прекрасен и глуп
он ничьих улетающих губ
не касался
он пространство травы
и ничьей головы поворот
не знаком золотому жуку
он счастлив
посетивший сей сад
в роковые минуты его
став другим веществом вещество
возвращается словом назад
и всегда говорит о любви
и во всём говорит о любви
чтоб и я умереть не боялся

Здесь, в южном городе, светлее по ночам,
здесь тает снег, не успевая даже
коснуться наших щёк—
ранеток спелых и холодных,
и воздух тих, как зимняя трава.
Здесь, в южном городе, дрозды снуют,
прохожих не замечая, зонтиков и ног,
и лампа говорит, и бредит кошка.
Длинноты и подробности зимы.
А синий сумрак—вечный и тягучий,
дым сигареты застревает в нём.
Писать стихи здесь сущая потребность.
И говорить то с лампою, то с кошкой,
всё время путая и проклиная их.

На берегу реки—кусты, костёр,
на берегу строки—синицы.
Стоишь и упираешься в простор,
не в состоянье в слово воплотиться.
Но травы и деревья чередой,
как музыка по нотам,—вдоль забора
над чёрной и тяжёлою водой
за такт, за рифму до зимы и хора
промокших веток, ветра и моста,
под лбом широким в плоскости листа,
в предчувствии любви и снегопада.

А таять начинало в феврале,
в десятых числах, к Сретенью Господню.
Я жил гораздо меньше на земле,
чем не́ жил. То, чего я сто́ю,
уместится в синичий чёрный клюв,
да выпадет, да вырастет, согнётся.
И будет снег и солнце—к февралю,
и снова снег, и снова будет солнце.
А таять начинало. И в дыму—
цигарочном, густеющем, тягучем—
мы уходили вдаль по одному,
но оставляли след. На всякий случай.

Нашёл тебя в распахнутой листве,
рифмуя траву с птицами в траве,
а птиц с рассветных воздухом и светом.
Я знаю это, знаю только это.
Приходит в мир иное вещество,
и слог его, и музыка его
во всём—слегка касаясь белой смерти,
чтоб понимали ангелы и дети
до нас с тобой, до губ и до строки,
стихи сегодня пишут дураки,
счастливые и вечные, однако.

Какое лето—лето мотылька,
недужный шум на скошенных ресницах,
от тесноты и немоты не спится,
и в рифму упирается строка,
как луч вечерний в бледные коленки
и влажным носом постаревший пёс:
и одиночества, и нежности боясь.
О благодать молчания и август—
для молодости—страх и удивленье,
предчувствие грядущей немоты.
Изгиб коленок, поворот строки,
в не-смерть всего несказанного вера.
Мучу травой, но звук неповторим,
гляжу стрекозами, но взгляд неповторим,
и проще быть не-встреченным, одним,
и знать наверняка,
что знает только ветер,—
какое лето—лето мотылька
в чужом саду, на слишком белом свете.

Рубили сливу, ветки я носил,
к себе прижав, на мусорную кучу,
и набирались зрения и сил
они—сухие—
ветер, пыль и Тютчев.
Не высмотреть, не выплакать, в глазу
размером со слезу клочок ландшафта.
Я слово через смерть свою несу
и возвращаю музыкой обратно
дорогу, дым, и шелест рук, и труд,
и мир, и май как триединство света.
Так после слова повториться тут
на крыльях ласточек сквозь сад
и Страшный суд
и вылететь в распахнутое лето.

как темнеет за пластиковым окном
как немо оно и гладко
как строги его черты
как темнело за деревянным окном
я почти не помню
но горчат шершавины рамы
и заклеены щели малярной лентой
и слышен дождь заоконный
и загробная груша слышна
ты сидишь а дом
качается и летит
ты сидишь а дом
освещённый одной сигаретой
безответно мигает
и темнеет темнеет